

Александр Петрушкин

ГЕОМЕТРИЯ ПОБЕГА



Александр Петрушкин

Геометрия побега. Стихотворения

ИП «Центр современной литературы»

Петрушкин А.

Геометрия побега. Стихотворения / А. Петрушкин — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-164-5

Александр Петрушкин родился в 1972 году в городе Озерске Челябинской области. Публиковался в журналах «Урал», «Крещатик», «Уральская новь», «День и ночь», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», «Text only» и других, в «Антологии современной уральской поэзии: Том 2 и 3». Куратор проектов культурной программы «Антология». Координатор евразийского журнального портала «МЕГАЛИТ» <http://www.promegalit.ru/>. С 2005 года проживает в г. Кыштым Челябинской области. Премия Русского Гулливера учреждена в 2014 году Центром современной литературы, издательским проектом «Русский Гулливер» и мультимедийным журналом «Гвидеон». С рукописью книги стихотворений «Геометрия побега» Александр Петрушкин вошел в шорт-лист основной номинации («поэтическая рукопись») и стал лауреатом в номинации «специальная премия издательского проекта».

ISBN 978-5-91627-164-5

© Петрушкин А.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

I		6
	«Доеденный лисой собачий лай...»	6
	«О, воздух, ты, который позабыт...»	8
	«Войным-война здесь, Катя, непогода...»	9
	«Сидит обманкой в поплавке...»	10
	«Скрипящая пружина слепоты...»	11
	Деревянный вертолёт	12
	Собачья голова	13
	«И вот, придумав, что любим...»	14
	«На птичьем рынке – торфяной язык...»	15
	«Сминая бумажную воду...»	16
	«Не раньше, чем начнётся смерть...»	17
	«И вот ещё, ещё немного – и начинается потоп...»	18
	Колчак	19
	Ода на третий июльский ливень	20
	«Обиды нет...»	21
	La mariposa de arena	22
	«Передавая хлеб по кругу...»	23
	Бессоница	24
	«Но будто вся вода не здесь...»	25
	«С лицом как озеро лежать...»	26
	«Листья слетают...»	27
	«И ослепителен был свет...»	28
	«Что близко мне? – скажи. Лежит...»	29
	«Знаешь [?] косяки у неба голубиными глазами...»	30
	«Вот чугунная баба...»	31
	Niño prodigo	32
	«По эту сторону болезни...»	33
	«Вот странные люди...»	34
	«Колеблется ли свет...»	35
	Щегол	36
	«То, что лежало на ладони...»	37
	Колодец	38
	Рисунок	39
	«Так вырой же тьму из могилы...»	40
	Диалог	41
	«И вот ты раздвигаешь двойника...»	42
	«Свет кожу стирает дочиста...»	43
	«Откроют листья золотые рты...»	44
	«Вот осени пирог, как шар...»	45
	Прогулка в августе	46
	«Алексею Сомову...»	49
II		50
	«Где деревянно кровь до октября...»	50
	Сруб	51
	«И запрокинув голову...»	52

«Он медлит избавлять от скорби...»	53
Наталья	54
Бог	55
«Когда почти освоен диалект...»	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Александр Петрушкин

Геометрия побега Стихотворения

I Двойник

«Доеденный лисой собачий лай...»

Доеденный лисой собачий лай,
подобраный – где лыжник леденцовый,
на палки продевающий снежок —
летит как тень с оторванной спиною,

летит, сужаясь в эхо, тянет R,
в дагерротипы встав наполовину —
когда пойму и эту чертовщину —
ты зашифруй меня скорей, скорей,

чем эта необъятная страна
на клетку влезть почти по-черепашьи
успеет, путая следы сякой судьбой —
что, если вдуматься – вопрос почти вчерашний,

Что слухом видишь? – пса с собакой гул
неразличимы тёмной тишиною —
и если лыжник только что заснул,
лыжня его становится норую

широкой – как, бывает, снегопад
растёт над людом местным и неместным,
когда его какой-нибудь бомжак
в окошке наблюдает слишком честно.

Рассыпавшись, вернутся, как фонтан,
два тополя, запутавшись в кафтанах
детешек, что скребутся в рукавах
у воздуха морозного. Как ранка

не заживает голос тощий мой —
доеденный, как время, ненадолго —
бежит лисой с оторванной спиной
и лыжник спит пока ещё негромко:

когда – открывшись сбоку – ему бог

то в морду, то за спину мёртво дышит—
не приведи Господь так долго жить,
чтоб довелось – и вымолить, и выжить.

«О, воздух, ты, который позабыт...»

О, воздух, ты, который позабыт
в гусиной стае, ставшей моей плотью

[почти что крайней], где Хироном сшит
и прожит маслянистою любовью.

Бензина россыпью на негустой воде,
на отраженье жжёном и тяжёлом

лежишь, как два любовника в траве,
и шевелишь в ней узкой головою...

О ты, который выжит и нашит,
как туз бубновый на кленовой жабре,

ты из меня – щеглом из тьмы – дрожишь
и жабой голоса во рту то
длишь, что умираешь.

«Войным-война здесь, Катя, непогода...»

Войным-война здесь, Катя, непогода
по воздуху вползает запах йода
по тростнику китайскому – порода
решает всё за нас, как за удода
(о!) этот запах кухонный, пернатый,
что отстаёт от до-стихов – как даты
скажи ещё кому-то: «запах йода...» —
и морщится [в нутро своё] природа.

О, этот воздух (йэ!) катеринбургский:
волной идут кретины на этрусков —
во их главе Улисс [почти] маячит —
он наблатыканный ХИММАШ переиначит.
Здесь, на резиновых деревьях, спят наречья —
как дым до дыр самим себе переча,
И запах спирта вьёт в песочницах гнездо,
растягивая жизнь до самой ДО.

Храни, мой дым [почти что папиросный],
царапины [а вовсе не вопросы]
в коленках, сорванных когда войным-война
была ещё весома и больна —

о, белый запах меж пустопорожних —
нас обучил быть-лечь неосторожный
[всё больше в горло] [больше горлом] йод
из чернозёма как трава рот в рот

«Сидит обманкой в полавке...»

Сидит обманкой в полавке
кузнечик нашей бытовухи —
поклёвка ходит налегке
и лижет спирту руки,

и рыбы светят из-под вод
мохнатым светом глаза,
везут стихи во мгле подвод
живых три водолаза,

сидят в прозрачной немоте
в каком-нибудь Тагиле,
ладонью водят по воде
в неслышимом здесь стиле

в услышимом и там и здесь
кузнечике пропашем.
Сидит обманкой в полавке,
что умирать не страшно,

что если бог какой-то есть —
то снег к Тагилу жмётся
(от холода его слепой)
в собачьи стаи бьётся.

Там – говорящий полавков
меня обманкой лечит:
чем ближе смерть – плотнее бог,
чем наст – прозрачней речи

«Скрипящая пружина слепоты...»

Скрипящая пружина слепоты
вытягивает светом из нутра
животного февральской густоты
замеса воздух – будто здесь гора
все семечки подсолнечные жмёт
в ладони додекретной темноты
у масляного временного рта —
открытые для неба так пусты.

Я выучил уральский разговор
татарских веток, бьющихся в окно,
скрипит пружина воздуха внутри
озона. Начинается озноб —
так начинает смерть с тобою жить,
и разливает по бутылкам свет,
и кормит жизнь свою по выдоху с руки,
и зашивает снег сугробам в лоб.

Иди же, мальчик, звуком поищи
невнятный выход ангелу отсель —
на лисьей горке плавают лещи,
сверяя скрип дочеловечьих тел.
иди же, мальчик, гендером иди,
свистящим переносом словаря
почти что птичьего, его почав, почти
внутри гнездовья своего горя,

по воздуху за богом приходи,
и жуй косноязычие его —
кому понятны ангелы твои,
в февральском масле вяленые врозь?
кому понятно, что мы говорим —
разбитые на биографий лёд?
Свет переполнил сумерки свои,
чтоб боже правый смог усечь наш рот.

Деревянный вертолёт

взаимно тихо говорит
из досок сбита зима:
ты не умрёшь с тоски [с тоски
не сходят] не взойдя с ума
и всходы у дурных времён
как входы в торфяные мглы
открыты пальцами собак
пещерных – до земли голы

и деревянный вертолёт
бормочет дым из глубины
горит по тихому как лёд
из нефтяного дна воды
но не взаимны голоса
из досок сбита зима
выгуливает смерть свою
и лает будто снег в санях

ей деревянный вертолёт
летащий от зимы на свет
потрескавшимся языком
крававый слизывает след
с лопаты лижет свой язык
как пёс дуря от крови
до крови [разодрав живот
земной у жестяной воды]

Собачья голова

волен Гулливер в собаке
что собака в Гулливере
в суеде и вере едут
в некоем прощальном сквере

а обратно едут люди
как растения обвиты
мрамором и снежной крошкой
поигрушечно убиты

сшиты Гулливер с собакой
и собака с головою
тень проходит между ножниц
сизым веком на куски

камень ножницы водиче
шьют и гроб и рукавицы
набирают в тень собаки
гулливеровой тоски

«И вот, придумав, что любим...»

Фёдору

И вот, придумав, что любим
на свете тот, что богнебог —
горит на кровавом огне
трамвай печальный без стихов:

без рельсов заезжает он
в дома, где нет ни этажей,
ни жителей, и бьётся кровь
стеклянных голубых стрижей.

Светлеет в крове – богнебог
претерпевает, что простим,
и ощущает здесь подлог —
когда не рай, а всё же лимб,

когда трамвай порожний спит,
прильнувши краешку окна,
когда с той стороны земли
ушедший смотрит на меня,

с той стороны реки, с воды
сдувая свежей почвы вдох —
приходит дно, приходит сын
и срамно богу, что – не бог.

«На птичьем рынке – торфяной язык...»

Евгении Извариной

На птичьем рынке – торфяной язык —
читавший арамейски – понимает:
поди налево, если не убит,
поди направо – видишь: там светлеет.

На каждый полумёртвый светофор,
на всякий крестоцветный – без базара,
как птица в клетке, по карманам вор:
он кормится – прости – ему так надо.

Исполнив эту глиняную печь
и перечни свои опустошивши —
поищешь свет, а он – ни там ни здесь,
как зёма, из-под почвы тихо свищет.

«Сминая бумажную воду...»

Сминая бумажную воду
Не дышит свинцовый карась
Идёт с той [почти по богу]
по воздуху вверх накренься

он жабры свои не шнурует,
шифрует под речь чёрный ил
и если дорвётся до суши
то верно поймёт, что он был,

сминая, царапая оду,
глазья в чудовищный страх,
что с точностью неба не спорят
в бумажных и рваных потьмах.

«Не раньше, чем начнётся смерть...»

Не раньше, чем начнётся смерть,
жующая свой хлеб беззубый,

не раньше, чем меня и впредь
не встретит мент, и не разбудит,
не вложит камень мне в глаза,
а в губы – гул пчелиный долгий,
я буду слышать голоса
тех, отъезжающих на лодке,
тех, уезжающих вперед,
сбросавших вещи в саквояжи
поспешно в свалку, как щенков,
так словно не успеть им страшно
на этот длинный пароход
и не имеющий причала,
где б чайка, проверяя рот
б/у-шный, отвердев кричала
невнятно требуя избы,
сирени, от мороза ломкой,

и замороженных глубин
или хотя бы потной шконки,

всплывут горящие гробы,
и станет мне тепло на лодке
перегибающей в обрыв,
где от встречающих так громко.

«И вот ещё, ещё немного – и начинается потоп...»

И вот ещё, ещё немного – и начинается потоп,
сминая выдох у порога, чтоб спрятать в травяной носок,
в полынной кости распрямляя [ещё не пойманную] речь
[нагретой до кипенья] почвы, чтобы удобней было лечь.
Так опадают воды ... воды... как выдохи и пузырьки,
и люди дышат словно овцы, дойдя до ледяной реки,

и с ними дышит, улыбаясь, как старость женщины, звезда,
ломаясь в темном отраженье на: да – и да – конечно, да —
ещё, ещё её немного поддержишь, выпустив с руки,
а люди дышат, словно овцы с той глубины одной реки,
сминая выдох у порога, в полынной кости копят тьму,
чтоб говорить немного боле немногим меньше одному.

Колчак

*У юной Росы Камборьо
Клинок отрублены груди,
Они на отчем пороге
Стоят на бронзовом блюде.*

Ф.Г. Лорка

Соски срезая ржавую метлой,
стоит у входа с неба часовой —
он машет медленной [как будто бы кино]
рукой кленовой этим за спиной.

Приветствует [не то чтоб вялый Омск]
входящих и ведущих в эту ось
полуслепых [двудённых, как котят]
и в свой живот кладёт их, в ровный ряд

на блюдо под палёною корой.
Ещё [как будто даже молодой]
один из мертвецов, как водомерка
суёт наружу руки – типа, мелко.

Метла проходит [вся в бушлате черном]
и слышит сиплый говор в коридорном
наречии фанерной коммуналки,
и покрывается испариной [здесь жалко

становится по-лагерному]. Чёткий
поветочный досмотр ведёт дозорный
и каркает из тёмного бушлата,
и публика [немного виновато]

расходится к кругам сосков молочных
моей жены – кровавой и непрочной,
и плёнка рвётся [как в кино – два раза],
зрачки срезая с глаз [как бы проказа].

Ода на третий июльский ливень

Холодная вода, что вертикальна,
стоит – шевелится – который день летально —
садам – по горло – конопле, канаве
[как бы избавишься от ангелов и правил,

где я углом живу сентиментальным,
себя не стою – от того и плачу,
что нас не выдаст Бог, торчащий сбоку,
торчу с водой, которой одиноко].

Мои друзья с другого края/света
За мной следят [с отчизной неодетой] —
со сволочью торчу, не накурившись,
харчком сплавляясь с родиной и тризной.

Прекрасна панихида будет этим,
пернатым, голосящим, как петели
конюшни, обернувшейся в сарай
[здесь понимаешь, что не надо рая —

пока вода стоит над огородом
и разбухает голосом чебачьим
древесный уголь – так,
а не иначе

«Обиды нет...»

обида нет
бледнеет и темнеет
холодный сад
в 13 году

от георгины
жёлтые аллеи —
как псы и кошки
с воздухом в паху

наматывают
мясо ледяное
на кости
неоформленных столбов

где газ по трубам
как ребёнок ноет
но кажется ему
что он поёт

по остановкам
как ворона мёрзнет
и кутается
носом в проводах

калённых электричество
[как в тельник]
и топчет ночь
дырявую в носках

обида нет
а делится на трое
холодный свет
завёрнутый в сады

и пчёлы спят
щенками в чёрном торфе
зажавши в ртах
куски стальной воды

La mariposa de arena

То, что чудеснее речи любой,
помнит, как бабочка [о] камень билась
[вместе – с хранимой под сором – водой] —
так и скажи, что она сохранилась

в тёплой смоле, как селенье в глуши,
будто летая, латает подбрюшьё
божьему небу – в котором дрожит
белым хитином хранимо снаружи.

Но ничего не случается, что
может озвученным стать – переносным
смыслом. За контур – усни, инженер,
слесарь-сантехник бабочкам водным.

Чувствуешь [?] – что эта бабочка внутрь
смотрит, себя разбирая до страха —
словно из камня сбежала уснуть
в тминых пустотах своих – там, где влага

небо построила – не по себе
богу, что бабочке может присниться,
то, что чудеснее речи, и снег
в камне за ней продолжает кружиться.

«Передавая хлеб по кругу...»

Передавая хлеб по кругу,
Как чайки гальку клювом в клюв —
Мы говорили с жидким богом
Своих друзей, чужих подруг —

Определёно и неточно.
Из ямы в детстве и земле —
Казался хлеб и мне порочным -Сгорая спиртом на столе.

Передавал нас хлеб овальный,
Прозрачный на зрачок слепца,
Как гальку, как глоток печали
И срез на пальце у жнеца,

Он говорил за нас не дольше,
Чем воздух бился у виска —
В мякину обращая слово,
Скрипела чайками доска,

Скрипела этим жидким хлебом
Связав на мёртвые узлы,
Как жидкий бог чужое тело
с таким моим.

Бессоница

Вывернув себя до дна
этой родины пустынной,
возвращаешь благодать,
благодарность и другие

нищих сумерек детали,
и бессонницу – с водою —
выжимая свет на тени,
где вернулся за собою,

выжимая льда сухого —
углекислый выдох в бледный,
пролетарский, бля, посёлок.
Слушаешь: [из шахты] медный

колокол – перевернувшись,
ищет звук в своём обломке
горлышком безъязыковым
он плывёт здесь с музой тонкой

возвратившийся, как блудный
сын в отцовскую могилу,
с тощей бабою бесплодной
он плывет в пивную жилу,

в купоросные разводы
смотрит, в родины пустоты
возвращает, к потной жажде,
чтоб задать вопрос мне: кто ты [?]

сын в отцовской яме роет
языком немного света,
чтоб оставить всякой твари
своё место без ответа.

«Но будто вся вода не здесь...»

но будто вся вода не здесь
но будто уточка взлетела
палаты все превозмогла
и села рядышком у тела

как пела здесь вода когда
пернатый выходил народец
из камыша едва дыша
и глядя в небо как в колодец

лежал и я меж сосен трёх
и наблюдал как эти дети
горят передо мной и там
из вёдер говорят нет смерти

и жук июльский говорит
перегорает в водомерку
и смотрит этот боже вниз
где ртом ловлю его монетку

«С лицом как озеро лежать...»

с лицом как озеро лежать
открытым богу и пророку

и никого не износить
ни ближнего ни дальних – вдоху

еще прозрачная земля
касается до половины

и даже в этом только я
возможно как зима повинен

храню свою ещё вину
и ей за всё я благодарен

и принимаю что живу
как и потоп со всех краин

«Листья слетают...»

Листья слетают.
Как бы последние гнёзда
небо покинет троянского
[в яблонях с инеем] льва —
старый мальчишка
сидит на скамейке так близко,
что не касается
длинным дымом меня.

Только и будет теплым
портвейн неизбывный —
что поцелуй первой
девочки там, где репей.
Треск стеарина
углов можжевельника – троица
гусениц жирных.
С запряганным в кожу крылом

листья летают [как бы
покинуты гнездами].
Благодаря этот дым,
за которым ведом,
старый стоит, как мальчишка
тroyанской всей конницы,
и под копытом его
растёт новый дом.

«И ослепителен был свет...»

И ослепителен был свет
ремня у самой-самой смерти –
так не давался мне ответ,
когда ей прибавлял отверстий,

когда ей в кожаный хомут
втыкал я «жили-были вроде»,
заглядывал в свою же жуть,
конюшни путая с подводой.

Лежал в песке и языке
и, ослепительнее русских
стреляя у земли махры
из торфяных карманов узких,

смотрел в её своё лицо,
расколотое рыбной стаей,
и ослепительное то,
чем кожаный хомут мой станет,

когда я этот свет возьму
одним глотком для перевоза —
как стыд, который без меня,
как смерть, останется бесхозным.

«Что близко мне? – скажи. Лежит...»

Что близко мне? – скажи. Лежит
река под спешкою забора —
и тёлок местные коржи,
и кулинарный запах бора.

Такая тёплая земля,
что тает, в СО2 сбегая,
туда, где нет ни островка
и где обширны грани рая,

и лает близкий, словно дождь —
даждь нам насущное на днеси —
на дне живущий ангел мой,
он отражение завесил,

он светом свет на тон закрыл,
и лепетал творимый воздух,
лепил, что я в ларьке убит,
и понимая, что не поздно —

я говорил ему в ответ,
что рай начнётся, будто волос,
у сына моего в виске
останется понятный голос,

понятный мне или ему —
и в этом видится причина,
что ветер режет мандарин,
когда его еще не видно,

что человеческий язык
мною отдан на границе рая —
и я живу ему в ответ
и [как всегда] не понимаю.

«Знаешь [?] косяки у неба голубиными глазами...»

знаешь [?] косяки у неба голубиными глазами
смотрят как светляк тревожит
древеса и спит меж нами

как лежит в песок уткнувшись между галькой и травой
как живёт в моей подошве
и клюёт её с двойною

моей пайкою ужившись в косяке уткнутом в небо
в уточке ковчега делит он со мною
пар от хлеба

и светляк дым расчекрыжит чтобы голубь вышел тёмным
и читал себя в газете справа снизу
вдоль колонки

там где небо от оливы вовсе и неотделимо
знаешь [?] косяки у неба
вёслами скрипят отлива

«Вот чугунная баба...»

вот чугунная баба
и кормит она
грудью прижатой
полна и едина
и наливается
рыбой до дна
пухлая с голоду
воздуха льдина

вот на заборе
висит как живой
бывший фотограф
мгновенье запомнив
вот как топор
говорит он со мной
вот эта баба
меня и не вспомнит

будто еловую
стружку смахнув
встанет на утро
теперь не со мною
кто-то другой
но уже за меня
грудь чугунная
пальцами тронув

и задрожит
расправляясь живот
бабы кормящей
живыми сосками
и зазвенит
черный грач изнутри
перьями мясом
дышащим меж нами

Нijo pródigo

Так ты крути круги печали,
наездник воздуха – с веранд
заходит гость и грудью впалой
он ищет, как навек пропасть,
как не вернуться с фронта в этот,
таджиком занятый, свой дом,
как вырастить на коже нечто
(возможно холм).

Наездник всей богемы нашей —
он помнит, как коса прошла
по головам у маргиналов
и жизнь прошла,
ушла давно за половину,
за распитой язык-стакан
и от сирени, как волк, дикой
гудит титан —

он воду греет чёрной бани,
он говорит, как Пушкин, нам:
крути, верти свои печали
по головам,
наездник, воздуха глашатай,
почти что холм,
отставший от своих же братий,
спи языком.

«По эту сторону болезни...»

По эту сторону болезни,
как скукой скроенный медведь,
мёд ловит знак [своей ладонью],
стоящий на слепой воде.

Знак, несуразный и горбатый,
непретворяемый в слога,
стоит коленями среди ряби
прозрачайшего живота.

По сторону сию болезни —
баюкает и холодит
его, как будто только-только
он начал по воде ходить

Насквозь, в растянутой рубашке,
и три-четыре рыбака
в кустах, как волки, зашибают
и ищут – где же здесь река,

где эти стороны болезни,
чтоб отражались лица их,
а знак стоит на отдаленье —
как воды круглые, затих.

Затих, как будто будет что-то —
незамиримое, как зверь —
то, что воркует в знаке тонко —
как пчёлам нежное медведь.

«Вот странные люди...»

Вот странные люди
в зарытые двери идут —
ни имя не вспомнить
ни шорох, что эти поймут,
как падает время
из малых прорех,
и бабочкой бьется
о лампу свою
человек.

Вот бабочки странен полет
или страшен – пойми —
что вскоре мы ляжем
у ней на пороге – кольни
[продольную душу
её] в свои кости вложи.
Вот странные люди
идут через ночь
лошадьми,

и лошади ноздри шевелят
[как смертность] хрустят
и кормят седыми сосками
людей, как котят.
И кормится их разговор
уходящими в дверь:
спросить – не ответят
они, что горит в листопаде
за зверь.

«Колеблется ли свет...»

Колеблется ли свет,
подвешенный на трубах
печных в домах ночных,
шагающих в стадах
на водопой тьмы,
сколоть колодцам губы
за страх увидеть нас
в протянутых руках,

в местах густой воды,
которой древо просит,
склонив свои четыре
животных лика в дым,
где дом шагает в воды,
в которых вырос лосем,
как осень, обнажая
четыре головы.

Колеблется ли свет
иль колебим подсвечник,
или рука его
держущая дрожит —
за мною ходит лось
и дерево сквозь кожу
растёт, как светлячок,
в четыре стороны.

Щегол

Кому-нибудь покажется: ты спишь,
в отверстия у сна сопишь, свистишь —
щеглиный голос, полый, как сова,
начавшись ночью, но едва-едва
притронешься к нему, и улетит.
И там, в подполье, ласково болит,

и кажется, что обретает мясо
щекотный голос в ивовом заборе,
он вышел [как впервые] из Миасса,
чтоб перейти, как марсовое поле,
всю скважину бездомного замка
и спрашивать потом: как там, на воле?

Ты – опыт сна. Кончаешься, как голос,
и продолжаешься, как слух и собеседник
всем мёртвым языкам, лишенным смысла,
зато красивым, как и все руины,
и крынка разливается в молочных
телят, которые плывут на белой льдине,
в телят, которые [как речь твоя] неточны.

И если ты взмахнешь: рукой? крылом ли? слухом? —
то мир изменит снова наши лица
и голос гол, почти как ожиданье,
и думает: кто и кому здесь снится?
Точнее – где? Сиди же на заборе,
даруй мне свист, отверстие, подполье,

любого сна подвал, квадрат [почти, как птицу,
что удивлялась нам, способным мниться
то отраженью на слепой воде,
то водомерке в зрячей полынье,
в той половине мира, где идёт
любой щегол и лица спящих пьёт].

«То, что лежало на ладони...»

То, что лежало на ладони,
хрустело яблоком на свет
[глазной] распахнутой пчелою,
как донник, павший на столе.

Сгорает кожа восковая,
как лепет нас клюющих птиц,
в ребёнке под столом сужаясь,
и донник говорит: простись,

на дне у неба, прижимаясь
плотнее к темени кругов,
я слышал, как с меня снимают
[как с древа яблоко] засов.

Там я лежу на дне у света —
пока расходится волна,
хрустящая, как волн пометки
на ткани тёплого ствола.

И чем мне светит скатерть эта,
когда в хруст руку протянув,
взлетает яблоко [глазное],
пчелу и донник взявши в клюв?

Колодец

Руслану Комадею

Ты всё провожаешь свои голограммы в шиповника ад,
который в себе вышиваешь, на память, как линию рваную рта.

Гляди – просветлеет колодец, и гонят быков —
ведь рай это полость – беда ли, что мал? Это всё.

Чтоб хлеб подавал бледный знак – что в твою Чилябонь,
как малое стадо пришел телеграф – но уволь! —

там гонит колодец быков, как бы кровь чистотел,
шиповник растёт через звук, меж своих же ветвей.

Есть мокрый двойник у быка. Он – колодец, он – чист,
растет из шиповника, с горлом, разрезанным вниз.

Светает двойник, как фонарь, освещает свой рай,
где гонят быков, чья спина распрямилась в трамвай,

вращая в шиповник. И больше не вправе стоять —
шиповник, колодец и бык в свои ветви летят.

Рисунок

повис над нами пловец синий
певец одышки и гомера
вокруг посмотришь много глины
а остальное всё – химера

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога по порядку
выводит в озеро она

и за пределами пристанищ
гудит солёный звук дождя
наверное и мы дождались
пловца фонарного в костях

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога по порядку
и грудь её как смерть – тесьма

и у рисунка вот такого
сверчок под сердцем замолчит
чтоб слушать как Гомер с Химерой
под глиной слушают ключи

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога – в женском платье
идёт навстречу ей волна

и покидаются причины
её открытых берегов
и смотрят внутрь её мужчины
соображая: кто из трёх

«Так вырой же тьму из могилы...»

Так вырой же тьму из могилы,
чтоб – как колыбель —
качалась она средь стеблей
предрассветных стрижей,

сгоняемых скрипом сосны
в навесные углы,
стучащейся с нашей
прозрачной, как мы, стороны,

что вырыла нас
и лопаткою птичьей звучит
над каждой цикадой,
как будто хозяйка бренчит

в прихожей костями, детьми —
разменяв лишь лицо, а не цвет,
начавши с конца,
поскольку сначала нас нет

ни в кадре, ни в клюве,
ни в этом фонарном белье.
Как будто есть тьма —
мы себе ковыряем бельё

Стоим у сосны между бёдер,
поднявшихся в свет,
кроша в темноту, то, что
[после прошедши] кольнёт.

Диалог

Порезавшись крапивою сухой,
ты дышишь, удивляясь расстоянью
с её молчанием, и спелый перегной
земле передаёт своё дыханье,

крапиву он роняет в небеса —
и верится пока ещё крапиве,
что есть в её молчании леса,
строения (и что немного кривы

все эти построения её),
что дышит Бог в рыжеющий затылок,
что перегной когда-нибудь спасёт
пуская сок в какой-нибудь отрывок,

в её порез, который, как язык
зелёным хлорофиллом мокнет
в горле,
её порез с моим заговорит,
и их молчанье долгое умолкнет.

«И вот ты раздвигаешь двойника...»

И вот ты раздвигаешь двойника
через тростник, в котором он клубится,
ещё туман [почти что не вода,
а ключ от птицы, что ей не разбиться]

даёт возможность]. Говорит со мной
двойник соломенный, садящийся на плечи,
саднящий горло – вот, как божеймой,
тростник меня раздвинул вдоль и лечит,

выращивает мокрое лицо, шагает по лицу
как бы в печали, и август смотрит
пристально за мной —
кутёнком, заблудившимся в причале,

чтоб слышал я, как шелестит тростник,
олений глаз закрыв наполовину,
и мокрый, словно смерть, двойник журчит,
меня [перед собой] как дно раздвинув.

«Свет кожу стирает дочиста...»

Свет кожу стирает дочиста —
кто ходит на месте пустом?
Его ремесло переносное,
как бабе, вносить меня в дом.

Внесёт и забудет на время
в среде голубиных людей,
накинёт на яблоню темень,
царапая горло ветвей.

Меня поцарапав однажды,
как будто котейка, дом-шар
воздушной и смертной жаждой
смотрел, как (его ли?) душа

выходит из яблока красного
и светится, где за окном
дом в стороны все расширяется,
идя за своим молоком.

Его ремесло непонятное,
Как бабе нести меня в сад
Где пчелы звенят пузырятся
Под кожей, желая назад,

где дождь вырастает из яблони
и падает яблоней стать,
где голуби клювом стараются
под кожей меня отыскать.

«Откроют листья золотые рты...»

Откроют листья золотые рты,
зарубки оставляя в каждой щепке
воздушной [бог заточит топоры]
и по воду пойдут – как будто бросил
их этот август бронзовый в себя,
по кругу охлаждающему ослепнув,
своё изображение деля
на хлеб и воду, прижимаясь к древу
осеннему, зеркальному, как тьма,
где птичий бог прибился к лесорубам
и загорелся [и язык принял] —
как листья, рыбы в нём плывут по кругу,
и открывают золотые рты,
и немоту себе [как вещи] просят
[листвяные], и срубы, и плоты,
и август бронзовый в себе
[как в вёдрах] носят.

«Вот осени пирог, как шар...»

Вот осени пирог, как шар,
печёт Сентябрь. Из живота
его вытаскивает дёрн
зима, с которой он сплетён

через меня, через мои
всё выжигающие тьмы,
через позор и тишину
мою, в холодную страну

он пишет из меня письмо,
печёт жену мою и дочь,
как мягкий снег, мясной пирог
он катит в шаре пред собой.

Вот этой осени пирог —
садись со мною, ешь со мной
мой рай крошечный изнутри,
с зимой забитый в сапоги.

Кати меня земле под дых,
как будто пёс оставил штрих
на этой выжатой тропе
в сосушей птицу высоте.

Скорми меня, Сентябрь, скорми
шарам, гудящим изнутри —
подобно ульям и вагонам,
нас покидавшим, как дорога,

с которой осени пирог
в крошечный рай глазеет мой.

Прогулка в августе

-1-

Входя в мой дом, как тень остановись —
на роднике, в котором прячет ключ
[звнящий в связке] тусторонний сад,
как август, спрятанный среди калиток туч.

Ты не найдёшь – вот стой теперь, как тень,
как бы вода, обретшая кувшина
[пусть гипсовую] кровь – что тоже кров,
[пусть речь] скрипящую из каждого мужчины.

И длинный пёс берёт мой страх из губ
[начавшегося с тени] листьёпада,
но [глаз не поднимая] видит он,
как зреет камень в дурочке, и надо

всего лишь – оглядеться и поднять
с земли свою [еще совсем не горсть]
золы, что в птицу развернулась и пропала —
как [между берегов повисших] мост.

Входя в мой дом, припомни, что в меня
обёрнут ключ от голоса и смерти,
что в роднике, в уключине [не смят,
но говорит] меж нами некто третий.

-2-

Входи в мой дом – пока ещё ты контур —
как сад посмертный, не обретший плотность,
как ртуть с ладони, склеванной вороной,
переметнувшейся снежком в иную плоскость.

Входи в мой дом нелепою наградой,
скрипи в калитке, как дрова в сарае,
чтоб контур становился этот ближе,
чтоб знали мы, что плоть [и так] сгорает.

Мой бедный родственник,
двойник воды бинарной,

свою ладонь в сад погрузи, как лики
раздвинь воды колодезные створки,
за мытые твои/мои ошибки.

Входи в мой дом, с вещами разминувшись —
за сквозняком следы не прибирая —
пока ты контур для смертельной жизни
и выглядишь как я [совсем банально] —

Греми, как Данте в зимней погребушке,
чтоб контур твёрже стал и нас однажды
оставил так, как оставляют сад свой —
уткнувшись шкурой в шкуру,
краем к раю

воды, где [приближаясь к отраженьям]
два контура свою же смерть теряют.

-3-

Мы потеряли смерть свою,
которую – то я пою,
то бабочка в ладонях
у сада – что потонет.

За садом тень его стоит,
как дерево и запах лип
[нелепое созданье,
которое с названьем

своим приобретает смерть].
пока что мы учились петь
почти что соловьями
[и думали, что сами]

в ранете жили муравьи,
и, расширяясь изнутри
в пупе земном,
как норы —

они мастрячили нам дом,
вокзал и сладкий тлиный ком
совали в подъязычье
[как будто дело в личном].

И тень – нас потерявши здесь —
водила свет сквозь тёмный лес,

как бабочка, что тонет,
сверкая сквозь ладони.

«Алексею Сомову...»

Алексею Сомову

Что птица волочёт в своё гнездо,
растягивая А почти до О?
Что бывший адрес твой, что этот новый —
недостижим, и прячется лицо
среди других, в даггеротип словлённых,
где голос стал уже твоим вдовцом.

Он в комнату проходит, натываясь
на форточки – кто палочкой стучит [?]
с той стороны, на всех нас – разрываясь
пока пиздато эта смерть торчит,

пока, как запах хлора и мочи —
летает с этим, перьями зажатым
(читаем «Смена-8М») – все три ночи
(совсем не ночи – синий под халатом,
снимая с нас, как с вешалки бельё,
гнилые голоса чужой фонемы,

и дождь с землёю под язык кладёт,
и хлеб размокший на язык кладёт
земля парит (а смыслы также темны,
но не темны) – засвечены тела.
Теперь, как бы Аид, стоит Сарапул
и поедает [как бумагу] всё,
переиначив, забираясь на кол.

Но вот, что очевидно – понедельник
шагает в ряд с тобой всегда налево,
не с той ноги и стороны ты встанешь
нащупывая рядом своё тело —
и вылетает смерть, как будто птичка,
и диафрагма в ней как бы табличка:
закрыт даггеротип – портвейн
ушел на фронт.

II Тыдым

«Где деревянно кровь до октября...»

Где деревянно кровь до октября
стучит – внутри у дерева, как ложка,
с морозом пальцы наизусть скрестя,
и смотрит [как в лицо] с его окошка,

как здесь, наевшись почвы, в высоту
у яблони прорезывая крылья,
вдоль веточек нахохлившись, плоды
сидят так, что – и кровь совсем не видно.

Поют [как человечьи] голоса
у дерева согретого плодами,
и кровь, скрутившись в яблоне, у дна
летит, морозя почву, перед нами.

Сруб

в срубе ручном узловатой зимы
запотело стекло

кто-то с иной стороны
лизет дно [теплым ртом

режет от неба язык
он кусок за куском]

то деревянной пилой
то дрожащим ножом

ходит по кругу воронки
пернатый как треск

и [беспросветен как горло]
светящийся лес

«И запрокинув голову...»

И запрокинув голову
[пока что без лица],
в круги по небу пялится,
как камень, детвора,
и птица возвращается
в качели [как бы смерть],
и лица нарисованы
в лице её на треть.
Но, запрокинув голову,
стоящий в небе том
дом раздвигает в стороны
лицо, чтоб смыть дождём,
чтобы стоять неузнанным
в каких-нибудь углах —
пока незрячи дети,
неся, как камень, страх

и, запрокинув голову,
в качели плачет смерть,
что ей лишь умирать здесь
[совсем]

одной за всех.

«Он медлит избавлять от скорби...»

Он медлит избавлять от скорби —
накормлена земля, в боках

дрожит и дышит, будто пёс ей
растает в рёбра, в берега

как будто бы растает ива,
точнее тень её растёт,

и тянет рёбра рек, лениво
кадык воде поспешной рвёт.

И линза из незрелой крови,
как из гнезда упав, дрожит

в птенце, врисованном псу в брюхо,
что в водах вспаханных лежит,

где тень, застыв на середине,
перезабыла диалог,

бог возвращает – как молитву
и иву – долг.

Наталья

Покажется, что снег с землёй делим
на человека и пустое место —
проходишь через тень свою один,
и та парит [как будто бы из теста].

Покажется – что тронута рукой
уже нашло скрижали нашей смерти —
покоя нет – но, если есть покой,
то он всегда в оставленном здесь месте.

Идёшь на холм иль спустишься с холма —
всё кажется, пока перевозима
сквозь тьму и ночь – на поезде душа,
на лодке [в старике] как руки длинной.

Покажется, что снег съедает смерть,
как будто тени замедляет крошки,
что сокрушимы Бог и человек,
когда уже почти что осторожны,

и что, спускаясь с неба, голоса
нащупывают в горла тьме несносной
зерно проросшее – чужое, как глаза —
переходящее из местности сей в поздно.

Покажется, что снег в земле лежит,
и, что земля лежит внутри человека —
чья тень оторвой сквозь меня летит,
по стороне ребра глухого света,

что выгнута, как лодка, почва здесь,
и снег всегда идёт наполовину,
что в свете есть твоём – моя вина —
и с ней не умираю я – а гибну.

Бог

Нет ни меня, ни тьмы
и даже света нет —
а только тонкий глаз.
И в щёлочки просвет

Он смотрит на меня,
а я смотрю в Него,
и, кроме наших взглядов,
здесь нету никого.

«Когда почти освоен диалект...»

Когда почти освоен диалект —
кыштымский, привокзальный и небесный —
меня уже почти на свете нет —
хотя, возможно, это я на снеге
сную то снегирём, то воробьем,
жую снежок в руке своей трёхпалой
и пролетаю под пурги метлой,
чтоб словеса казались слишком малым.

Поспешным чудом будет весь декабрь,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.